

ФРОНТОВИК СОЛЖЕНИЦЫН

Когда в начале 1990-х годов я спросил покойного ныне разностороннего учёного и поэта С. С. Аверинцева про его отношение к солженицынскому «Красному Колесу», он ответил уклончиво: «Солженицын — замечательный баталист». И это тоже, разумеется, правда. Но тем более от Солженицына чаемо было нами произведение именно о той войне, в которой он принял непосредственное участие, — Великой Отечественной. Как писал он в своей ранней поэме «Дороженька»: «Я ношу в себе заряд историка / И обязанности очевидца». Но «обязанности очевидца» перво-наперво требовали писать о ГУЛАГе: освобождение России от советской заразы очевидно бы затянулось без соответствующих книг Солженицына. А «заряд историка» подталкивал к уяснению — как могла произойти революционная катастрофа, почему русская цивилизация рухнула и была ли в том неизбежность. И, только справившись с двумя этими капитальными задачами, уже вернувшись в Россию, писатель вплотную занялся военной темой. В конце 1990-х из-под его пера выходят два объёмных рассказа — «Желябугские Выселки» и «Адлиг Швенкиттен». Напечатанные сначала в «Новом мире», в 2001 году они вышли отдельной книгой в издательстве «Русский путь», но в читательскую толщу — по условиям нынешнего времени — так и не сумели проникнуть.

...А между тем именно они достойно завершают отечественную прозу прошлого века, да и в целом, видимо,

ждать новых произведений на военную тему от писателей-фронтовиков более не приходится: с культурной сцены сходят и они, и следовавшие за ними шестидесятники. Мы стоим перед угрозой заполнения литературного пространства многословными опусами новой постмодернистской волны, словно сделанными «под ключ» богатых литературных премий, и просто коммерческой беллетристикой. Тем живительней ещё раз — может быть, напоследок — надышаться ключевым воздухом русского реалистического рассказа.

При чтении «Желябугских Выселок» трудно не вспомнить Тютчева:

От жизни той, что бушевала здесь,
От крови той, что здесь рекой лилась,
Что уцелело, что дошло до нас?
Два-три кургана, видимых поднесь...

Рассказ двучастный — военные «жизнь и кровь» первой части, когда читателя за счёт непрерывного движения, развития действия буквально затягивает в водоворот фронтовых боевых будней; и в контраст им — мертвенная тишина части второй: жалкий быт разорённой русской деревни через пятьдесят два года после тех военных событий. Война страшна, но почему-то оптимистична: есть надежда, что после победы начнётся новая жизнь. А в части второй — полная безнадёга: наша деревня — скопище одиноких, брошенных в нужду и нищету стариков, бесправных, бессильных. Так за что ж проливали кровь и боролись?

Изумляет, сколько же мелких подробностей сохранила с военного времени солженицынская память: подробностей не только зрительных — слуховых: «благородно хлюпающий крупный снаряд» — кому, кроме Солженицына, под силу сказать такое? Проза зримая, слышимая, обоняемая. Но при массе подробностей — это отнюдь не «натуральная школа». Описание здесь служит не просто педантичному воспроизведению обстановки, но усилению образа и картины. Часто наша «натуральная школа» грешила

и грешит, я бы так сказал, бухгалтерской отчётностью, не жалеющей читательских глаз и времени. Проза Солженицына — экономна: много говорится, но не покидает ощущение, что ещё больше остаётся за текстом. Она врезается в сознание не за счёт своей «массы», но благодаря точности и незаменимости слова. «А вот и ландыши. Никому не нужные, не замечаемые. Срываем по *кисточке*». Именно благодаря «кисточке» эти ландыши остаются в памяти внимательного читателя навсегда. Или: «Застоялая, как годами не движимая вода. От соседней яркой майской зелени она кажется *синей себя*». Какая импрессионистическая поэзия! И образ бойкой девочки с красивым и нелепым именем Искитея — безжалостно перемолотой жизнью в полубезжизненную старуху — незабываем.

Маленькая повесть «Адлиг Швенкиттен» — о боях в Восточной Пруссии в январе 1945-го — настоящий шедевр позднего Солженицына, где его литературное мастерство достигло предельной концентрации. С первых же страниц и абзацев повествования проникает в читательскую душу чувство вѣщей, точней, зловещей тревоги — и так по нарастающей — вплоть до реквиемного финала. Скупые предложения, частые абзацы; иногда проговариваемое понятно только специалисту-артиллеристу, фронтовику; для непосвящённого же читателя это только усиливает общую тревожную музыку. Бессмысленное, стратегически не мотивированное выдвижение бригады в прусскую ночь, тогда как штабные отключили от себя связь, расслабившись за горячим — со спиртным и бабами — ужином, бессмысленная гибель множества лучших солдат и офицеров, сформировавшихся именно в годы войны во всей своей внутренней мужественной самостоятельности, — таков сюжет повести. Но у неё — мнится — гораздо большая глубина. И она — в ощущении обречѣнности лучшего перед худшим. Чистое проигрывает нечистому, сильное проигрывает корыстному, крупное — мелкому, храброе — опасливому. Лапидарная, но какая ёмкая проза! Прежде у Солженицына в знаменателе всегда было некое подспудное... ликование: в жертвенности добра он видел его метафизи-

ческую победу. Здесь — по-другому. Герой повести майор Павел Боев мелькает ещё в «Желябугских Выселках» — это оттуда запомнились нам его «на груди слева — два Красных Знамени, редко такое встретишь» и — «голова у него какая-то некруглая, как бы чуть стёсанная по бокам, отчего ещё добавляется твёрдости к подбородку и лбу». В «Адлиге» есть портрет его тоже: «Майор был роста среднего, а голова удлинённая, и при аккуратной короткой стрижке лицо выглядело как вытянутый прямоугольник, с углами на теменах и на челюсти». И вновь: «На гимнастёрке его было орденов-орденов, удивишься: два Красных Знамени, Александра Невского, Отечественной войны да две Красных Звезды...»

И вот, согласно приказу, Боев с бригадой выдвинулся вперёд, никак не обеспеченный с тыла. Зловещее освещение: лучи карманных фонариков, только выпавшие снега под луной, то и дело скрывающейся за тучами. «Мутнела пасмурная ночь, прибелённая снегом. Висела отстоянная тишина». Боеву 30, семь лет, «ещё с Хасана», он на войне. А его комбаты ещё моложе, им по 20 с небольшим, они для него «сынки». Война — их единственная — по жизни — профессия: она для них попросту труд, работа. И как всегда у Солженицына — каждый персонаж не тень, не абрис, не функция, а во плоти живой человек: заботливо и объёмно не ленится прозаик выписывать свои персонажи.

От страницы к странице меняется лунное освещение, в мрачной тишине нагнетается обстановка. Бригада Боева на *закланиш*. Можно бы отступить, спастись, но по советскому «кодексу» откат и на шаг — преступление. Что-то будет? — замирает душа читателя.

Наконец гнетущая тишина разряжается в атаку противника: «Из смутного ночного брезга, из полного беззвучья — грянуло на 5-ю батарею сразу от леса справа, но даже и не миномётами — а из трёх-четырёх крупнокалиберных пулемётов — и почему-то только трассирующими пулями. Струями удлинённых красных палочек, навесом понеслась предупреждающая смерть — редкий случай увидеть её чуть раньше, чем тебя настигнет».

Незабываемы — в своей драматичной простоте — последние абзацы Эпилога повести «Адлиг Швенкиттен». Извлечения из них невозможны — это единая прозаическая порода, не подверженная коррозии и расколу, сжатостью и силой сравнимая с прозой Пушкина. Перечитайте их ещё и ещё раз: их трагическая музыка зазвучит по нарастающей и заставит вспомнить накатывающую военную музыку Шостаковича. (Аналогичный эффект и в пронзительном рассказе Солженицына «Эго», написанном в 1994 году...)

Летописец ГУЛАГа и аналитик революционной катастрофы Солженицын в сознании большинства — писатель социальный, но уж никак не военный. А между тем это не совсем так, вернее, совсем не так. «Случай на станции Кочетовка» практически стоит у истоков «лейтенантской прозы». (До того только повесть «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова вспоминается как вполне ясное и чистое слово о войне.) И, вероятно, симптоматично, что на старости лет в, казалось бы, совсем не подводящие к тому 90-е годы, в «криминальную революцию», и Солженицын, и Виктор Астафьев снова вернулись к военной теме, словно понимая её как свою прямую обязанность, как то, что за них никто больше уже не сделает. Ибо те, кто не нюхал пороха и сам не хлебнул военного лиха, будут писать (если будут) о войне, быть может, и по-своему мастерски, но всё-таки приблизительно. Есть, очевидно, темы (фронт, лагерь, тюрьма), для разрешения которых жизненный опыт просто необходим и незаменим даже и ярким профессиональным воображением. Без него тут всегда будут чувствоваться натяжка и дилетантство.

Чем дальше от нас война, тем сильнее искушение её мифологизировать — порой в самых добрых патриотических целях. Так диктатор-параноик становится гениальным стратегом в белоснежном мундире; СМЕРШевцы — орденным нестигаемым борцам со шпионажем; а сотни тысяч наших пленных, по вине запаниковавших военачальников попавших на фронтах в окружение, сегодня — перефразируя Астафьева — «прокляты и забыты»...

А на другом полюсе мифологемы те, для кого военный подвиг народа потускнел и вовсе лишился мощной героической музыки.

Проза настоящих русских писателей и тут всегда на стороне *правды*. Энергия писательского духа позволяет Солженицыну, ничего не скрывая и не преукрашивая, и в лагере, и на фронте, и в пригнетённой советской повседневности обнаруживать высокие возможности человека.

Солженицын никогда не был пацифистом, непротивленцем. Он — за «противление злу силой», даже и когда зло с очевидностью победило. Проза писателя не разрыхляет, а закаляет характер читателя, укрепляет его в его самостоянии и надежде.

Юрий Кублановский

ЛЮБИ РЕВОЛЮЦИЮ

НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ

Мальчишка!
Люби революцию!
Во всём мире одна она
достойна любви!

Б. Лавренёв. Марина

Глава первая

РАЗМОЛОТНЫЕ НЕДЕЛИ

Подъезжая к Москве дождливеньким, хмуреньким утром, Нержин стоял на открытой площадке вагона, подставляя лицо приятной июньской мороси, и думал о том, какой он глубокий человек, как много знает, не смотря на свои 23 года, и как ещё больше узнает впереди. Вперемежку с мыслями приходили в голову разные остроты — и наиболее удачными из них Глеб мысленно делился со своим ещё школьным другом Андреем, присутствие которого неизменно ощущал. И там, где они должны были раскатисто смеяться вдвоём, — смеялся вслух, чем удивил проходившего через тамбур проводника.

И вот, досрочно сдав у себя в Ростове последний государственный экзамен на физмате, — с лёгким сердцем перед простором, теперь свободным для всех наук и искусств, — Глеб немедля, в июне же, выехал на сессию и экзамены в свой заветный МИФЛИ — прославленный Московский Институт Философии, Литературы и Истории. Сдавать он вёз — в голове, а больше в конспектах: латынь и церковно-славянский, несколько литератур — античную, всеобщую до Возрождения и русскую до Карамзина, ещё историю Средних веков, — но обилие предметов не тяготило его, — напротив, радовало своим разнообразием и своей непохожестью на аналитическую теорию дифференциальных уравнений и монодромные множества. Рассчитавши целые годы

по секундам, Нержин не знал и не желал отдыха, не раз с благодарностью проверяя на себе правило Ламарка, что отдых состоит в смене работы.

Беречь! Беречь время и уплотнять его! — был напряжённый девиз Глеба ещё со школьного времени. Ни на какое ребяческое *бортыжанье*, пустое слонянье, кроме единственного только футбола, его невозможно было завлечь. Над ним напоминательно парила несчастная смерть отца в 27 лет. (А Лермонтов? А Эварист Галуа?) И Глеб действовал так, как если б и ему было определено столько же. Разрываясь между математикой, литературой и историей, он уже после третьего курса физмата изобрёл: одновременно, заочно, учиться и в МИФЛИ — о самом существовании которого, по провинциальной оторванности, и узнал-то слишком поздно.

С того же второго-третьего курса уже несколько раз пересекал его путь — отвилки в армию. Приезжали вербовщики от одного, другого, четвёртого военных училищ и заманивали переходить туда, бросив университет. «Разве столько будешь получать, как школьным учителем?» (Да какое имеет значение *получать*? Разве мы выбираем путь жизни — по деньгам!) «И в армии — сразу в комсоставе, а то — рядовым три года тянуть». Да, потерять три молодых года на армию действительно казалось чудовищно, — но тем более не самому же туда спешить совать голову. В *военное* время — ещё бы! не только место мужчины на фронте, но о будущей европейской — и конечно Революционной Великой — войне Глеб почти мечтал. Но та Война — ещё когда будет, а вот армейщина мирных лет — невыносима, нет.

И вдруг? К концу пятого курса, весной, на призывном военкоматском осмотре хирург остановился на ненормальности, которой Глеб и значения не придавал, хотя ещё в школьные годы мешала в футболе; задержался, покачал, покачал головой: «Это может быстро переродиться в опасную опухоль», — и вписал в карточку:

«В мирное время — не годен, в военное — нестроевая служба».

При резкой неожиданности — однако! какой же это был дар судьбы! Опухоль — ещё будет, нет ли, а через два месяца государственные экзамены — и не в призывную команду шагай, а ты — вольный человек! Это же как раз недостающее драгоценное в р е м я!

Итак, жизнь была прекрасна. Прежде всего потому, что она была подвластна Нержину, и он мог делать из неё всё, что хотел. Ещё — потому, что необъятным и упивчиво интересным раскрывался мир в развитии и многокрасочности его истории и человеческой мысли. Очень удачно было ещё то, что жил Нержин в лучшей из стран — стране, уже прошедшей все кризисы истории, уже организованной на научных началах разума и общественной справедливости. Это разгружало его голову и совесть от необходимости защищать несчастных и угнетённых, ибо таковых не было. Очень была удачная страна для рождения в ней пытливого человека!

У этой страны последнее время появилось второе подставное название — «Россия», — даже чем-то и приятное слово, оттого что раньше было всегда запрещено и проклято, а теперь всё чаще стало появляться на страницах газет. Слово это чем-то льстило, что-то напоминало, но не рождало своего законченного строя чувств и даже раздражало, когда им, кипарисно-ладаным, соломенно-берёзовым, пытались заставить молодое свежее слово «Революция», дымившееся горячей кровью.

Всё поколение их родилось для того, чтобы пронести Революцию с шестой части Земли на всю Землю.

Поезд местами прогрохатывал над первыми улицами и трамваями Москвы, асфальт и крыши мокро поблескивали в наступившем дне, жители виднелись на улицах не в торопливости и не в изобилии — потому что было воскресенье, когда так уютно поспать под дождик.

Двенадцатью вечными знаками зодиака встречали старинные часы Казанского вокзала вымытые блестящие поезда, подкатывающие к оловянно-серым платформам один за другим в эти утренние часы простого июньского воскресенья. Воскресенье было совсем простым: оно было двадцать вторым днём того месяца.

Поезд метро гулко понёс Нержина от Комсомольской площади к Сокольникам. Старой Москвы — с Китайгородской стеной, Храмом Христа и Иверской часовней — Нержин никогда не видел и не знал, знал только новую — сразу с двумя линиями метро, домом Совнаркома и корпусами А, Б, В, Г по улице Горького. И эта Москва не волновала сердце, подобно Киеву, переутомляла своей громоздкостью, но вполне годилась в качестве столицы великой страны.

Зато от сокольнического круга начиналось тихое и хрупкое: трамвайчик СК (Сокольничий кольцевой), парк, милое Ростокино с малодвижной Яузой, и снова рощи за ней, а по этот бок реки — стандартное здание МИФЛИ с наиболее нестандартно мыслящей молодёжью: в этот дом Нержин входил, как во храм, и гордился быть его частичкой. Девушки и юноши, которых он никого не знал, встречавшиеся ему в коридорах, толпившиеся у расписаний, у стенгазет, сосредоточенно обложенные фолиантами в факультетских читальнях и даже примитивно съедающие простой бутербродик в подвальном институтском буфете, казались ему самыми-самыми талантливыми изо всех своих сверстников по всему Советскому Союзу, — и Нержин изнывал от жажды познакомиться с ними и открыться, что он такой же талантливый. Но в ответ встречал только презрительные взгляды: в их привычной толпе он был непривычный, сразу отличаемый заочник, низшая раса, студент второго сорта.

На голубятню заочного отделения и лестница вела не главная, а та, что около уборных. Зато сидели на голубятне две прелестные секретарши: одна — беложавая

голубоглазая ослепительная полька, другая — с оливковым разрезом глаз и влажным карим блеском их, готовая всё понять и во всё поверить. Особенно эта вторая нравилась Нержину — тревожностью ожидающей молодой души.

Секретарши принимали заочников, и, хотя не было никакой явной причины для смеха, — в маленьких комнатках на голубятне оживлённо смеялись.

Получив ордер на койку в Центральном Студенческом городке, списав расписание занятий и экзаменов, взяв необходимые жетоны во все читальни, Нержин, еле сдерживая торопливость скорее накинуться на книги, ехал всё в том же СК на Стромьнку и рассеянно слушал немолодого белорусского еврея, тоже заочника. Спутник сообщил о своей зарплате, о зарплате своей жены, описал замечательные способности старшего сына и между прочим выразил беспокойство, не случится ли чего: прошлое воскресенье была у них закрытая лекция для коммунистов, и лектор из штаба Белорусского военного округа сказал, что отношения наши с Германией напряжены до крайности и что можно ожидать войны в любую минуту.

Сосны Сокольников, освежённые дождём, мелькали на ходу трамвая. Да уже бывали такие веские опровержения ТАСС — за Германию, что она не враждебна нам и не готовит войны, — никто ничего не ждал...

На Стромьнке Нержин попал в комнату, где стояло семь кроватей, пять занятых, и жили гуманитарии — из МГУ и МИФЛИ. Они ещё не разговорились после позднего сна, кто-то из них брился, кто-то ещё бессмысленно лежал, один укладывал в чемодан вещи, а вещи были сплошь книги, и хозяин, не удерживаясь, любовно листал их. Все покосились на Нержина, как пассажиры купейного вагона на мужика с мешком застаревшего сала и сапогами, смазанными дёгтем.

Дождь за окном перестал, но ещё не все подсохли капли на стёклах. По радио передавали двенадцатича-

совой выпуск последних известий. Пока Нержин располагался на койке и очищал тумбочку от мусора своего предшественника, известия шли своим чередом отведенных им пятнадцати минут, были бесцветны и безоблачны. Кроме всех наших побед в социалистическом соревновании кто-то бастовал в Порто-Рико; безработные в Бразилии захватили машину с молоком, но не выпили его, как можно было ожидать, а вылили в канаву; гнусные финские социал-демократы опять клеветают на Советский Союз; а безжалостные колонизаторы в Индии опять наживаются. Один студент вяло встал, выдернуть вилку громкоговорителя, другой задержал: «подожди, концерт будет». Первый застыл с поднятой рукой — а диктор объявил речь Молотова.

Словно разряд, спаявающий металлы, проскочил между шестью сердцами будущих историков и экономистов. В каком-то едином вздроге они вскочили, замерли кто где — и так слушали, изредка обмениваясь охмуренными взглядами. Черноватые обрывки растягиваемых туч, как уже прорвавшиеся дивизии врага, стремительно неслись по мутно-облачному небу. Мир — ладный, закономерный, удобный — раскололся, дал зияющую трещину, не покрываемую хлипким мостиком *Нашего Правого Дела...*

Единогласно это ощущалось — как удар огромного тарана Истории. Нечто великое. Это — эпоха.

И заговорили сразу все те пятеро, да уже и Нержин с ними. И были мысли звонко-отщёлкивающие, и были мысли вязкие. Спорили сразу обо всём: надо ли было затевать в тридцать девятом году дружбу с Германией? и кто кого обманул? и что такое покорённая Европа для Гитлера — пороховой ли погреб или оружейная мастерская на ходу? Только не спорили о том, как пойдёт война: за много лет всё читанное в газетах, всё слышанное по радио и на собраниях, всё виденное на демонстрациях и в кино (и всё запрещённое к промолвке) наслои-

лось — и юноши не сомневались, что советские рубежи не дрогнут.

Ещё не вовсе принятый ими, Глеб испытывал чувство братства к этим ребятам, прошедшим тут не сравнимое с ним столичное обучение: вот — мы, мы, Семнадцатый и Восемнадцатый годы рождения, — что за грозное-великое нам выпадает?! Но — и мы же готовы к нему. Так несчастно родились — уже после революции, не захватили её даже детской памятью, не то что участием. А всегда было это ощущение: предстоящего великого боя, который разрешится только Мировой Революцией, но прежде их поколению надо лечь, всем полечь, готовиться всем погибнуть, и в этом сознании были и счастье, и гордость. *Всему* поколению — лечь не жалко, если по костям его человечество взойдёт к свету и блаженству.

Преображенскую заставу нельзя было узнать. Ещё не была досказана речь, а обезумевшие — наши, советские! — люди уже неслись в сберкассы, на бегу выворачивая из карманов сберкнижки; звенели стёкла разбиваемых зеркальных дверей; в густой духоте магазинов качались от прилавка к прилавку толпы вспотевших яростных мужчин и женщин, разбиравших всё, что можно было положить на зубы, — от свежих золотистых батончиков до запалённых пачек горчицы.

Однако дух спартанской доблести, дух республиканского Рима курился в комнате ровесников Октября. Даже не гнев, а отвращение вызывало у них это свино-человеческое месиво в магазинах. И они — жили среди этой тёмной толпы? И эта толпа, как и они, смела называться гражданами Союза? Т е х, внизу, на улице, и выше, на площади, было много, ужасно много, но их, идейных, тоже были миллионы, — и на первой линии фронта должны были сказать своё слово э т и, а не т е.

Нержин поехал трамвайчиком сокольнического круга опять в институт. Он ещё не вместил, что заочной сессии не будет, экзаменов не будет, — и сам Ин-

ститут Философии-Литературы ещё будет ли? Он пошёл со своими жетонами в читальню и набрал учебников, каких в Ростове не было, — и сидел, смотрел сразу несколько, перебрасываясь, даже глядя заманчивые страницы, которые никогда ему не придётся прочесть. И так любил он эти науки, которые никогда не узнает.

Разведрилось. Подсохло. Забирала июньская жара. По Ростокинскому проезду куда-то неслись и неслись до вечера сотни как ошалевших пустых грузовиков — и их воскресный бег безжалостно напоминал, что война не приснилась.

В общежитии сновали коменданты, прилаживая к окнам неумелую светомаскировку. Не доверяя ей, вечером весь район вокруг Стромынки, а может быть и всю Москву, отключили с электростанции. Соседи Нержина по комнате глухой ночью ушли пешком через всю Москву на комсомольское собрание на Моховую. Это было грозно, таинственно и веяло гражданской войной. У их поколения то был высший образец.

Нержин лежал на койке в полной темноте и с мрачным одобрением слушал вереницу указов: о всеобщей мобилизации; о введении военного положения; о запрещении выезда и въезда; об уголовном наказании сеятелям слухов и паники.

Так. Так. Всё правильно.

Но, стоп: как же быть с выездом и въездом? Значит, ему уже не уехать в Ростов? Что ж, было упоение в этой всеобщей беде, — и если никому нельзя, почему ему добиваться исключения? Значит — мобилизуется тут, в Москве. (И надо — в артиллерию; как отец: из университета — в артиллерию.) Глеб — без сомненья пылко любит жену, душевно привязан к матери, — но не настолько, чтобы медлить в выполнении долга ради необязательной процедуры лишнего прощания.

В июне в Москве ночи не белые, но сероватые, и для южанина коротки. Перед концом ночи война оглушающе затрясла Москву — словно вся авиация Гитлера

прилетела бомбить столицу. Вот он, центр войны! А оказалось потом — это били одни наши зенитки, будто лопааясь от злости. И будто покачивались недолговечные стены студгородка, выстроенного на скорую руку пятилеток. Били до самого алого восхода, когда выяснилось, что немцы вообще не прилетали, а тревога — учебная.

На улицах уже вывесились газеты за 23-е число — и как они непохожи были на своих беззаботных сестёр за 22-е: ещё вчера была между строк молчаливая взаимная дружественность с Германией, и никто не подозревал, о чём кричали сегодня мрачные чёрные шапки непререкаемой «Правды»: что прекрасная Европа стонет, растоптанная сапогами немецких оккупантов.

На трамвайных остановках сыновья вырывались из рук плачущих матерей и молодецки вскакивали на подножку. Театральные кассы по инерции торговали билетами, и люди покупали их. Нержину хотелось бы даже не видеть такого кощунства: какие ещё могут быть театры? В глухом переулке Арбата, куда Нержин зашёл поклониться памяти Скрябина, как-то особенно печально темнела глубина молчаливых комнат за стёклами закрытого дома-музея.

Тёмно-кирпичные башни Кремля над Александровским садом были угрюмо недвижны, не выражая бурных тайн за их стенами. Всё так же скакала в вышине четвёрка коней Большого, быть может на днях обречённая фугасной бомбе. Никто, кроме провинциала, не оборачивался на забытого старика-первопечатника. Дальше и выше, по ту сторону большой площади, на высоте, в ветерке, в ярком июньском солнце чутко трепетал красный флаг меж двумя лежащими, из камня иссеченными нимфами над стройным многоэтажным зданием, назначения которого Нержин не знал, и прочесть его зеркальные вывески не подошёл, а так почему-то понял, что это — министерство иностранных дел.

Казанский вокзал был густо забит почти одними мужчинами — продавали билеты только тем, у кого были завидные призывные свидетельства на первый и второй день мобилизации в провинциальных военкоматах. Вот как! — а Глеб и не подумал, до сих пор в голову не пришло: так с его нелепой «ограниченной годностью» ещё что же — сразу не мобилизуешься? надо — ж д а т ь? да может, не дни, а — недели? Вся война пройдёт?! Да не колеблясь пристал бы сейчас к первой же воинской части, которая б его приняла, — но не знал, как это сделать, где, в общем вихре. Он пошёл доведаться в сокольнический военкомат: можно ли иногороднему мобилизоваться в Москве? Оказалось — никак нельзя. Значит: скорей домой! — для того, чтоб оттуда скорей же в армию! Московские тротуары горели у него под ногами.

Железнодорожные порядки рухнули при первом же натиске войны: билетов нельзя было купить в кассе, но никто их и не проверял. Для сугубой секретности, чтобы привести в отчаяние немецких шпионов, номера и отправление поездов по громкоговорителям не объявлялись. Сбившись со времени, какой-то переполненный пассажирский состав взял да и тронулся на Воронеж. И Нержин был в нём.

В нетерпеливом сне просидел он весь путь до родного города. В плотно натисканных купе сидели по большей части мужчины, курили и говорили о войне. Русский дородный лётчик, литой широкоплечий парень, в котором как-то сдержанно сочетались и мощь, и добродушие, и трезвый со смешком рассудок нашего средне-русского типа, облокотясь о столик, медленно рассказывал, что был в отпуску, вот возвращается теперь в часть. Лётчик, несмотря на свою молодость, чувствовал, не гордясь, а даже скорей сожалея, превосходство над десятком своих разновозрастных соседей по купе. Переведенный реформой Тимошенко из офицерского состава в сержантский, третий год служа в армии, он был равнодушно готов к переброскам, опасностям, не-

приятностям, — а эти люди с гражданки, цепко связанные семьёй и привычками, казались ему несмышлёными детьми, ни к чему не готовыми, не знающими, по чём фунт лиха.

Все вопросы, которые они задавали лётчику, как бы наталкивали заверять их, подбодрять, что авиация наша неисчислима и непобедима. Но он, вспоминая заднепровский аэродром своей части, видел его таким, каким покинул три недели назад: четыре новые боевые машины, только что с завода, ещё экспериментального, а не серийного выпуска, с хорошей скорострельностью, с хорошей маневренностью на подъёме, — на этих машинах даже не все успели полетать по разу, — и десятки летающих гробов «И-16», прозванных «И-шаками», с низким потолком, с ничтожной скоростью. С досадой на кого-то, кто ни о чём не подумал вовремя, а только выпускал хвастливые фильмы вроде «Эскадрилья № 5», какой имели наглость показывать даже в их клубе, лётчик не находил в себе силы лгать и рассказывал всё как есть. А Нержин слушал его — и не находил в себе силы верить, и старался не слышать — как неотклонимый стук поезда, уносившего их всех.

На маленьких среднерусских станциях уже собирались мобилизованные в ожидании отправки. На зелёных лужайках, тотчас за концом пристанционных решётчатых оград, белели бабьи платки и узелки с дорожниками, женщины судорожно всхлипывали, вили на мужчинах, те высвобождались, хлестали водку наспех прямо из бутылок, а на одной станции лихо плясали. Этот совсем не радостный танец как вневременная картинка застыл в памяти Нержина. В нём подымалась тёплая волна благодарности этим пьяным мужичкам, которые столько раз вывозили, — и неужели ж теперь не вывезут?

За трое суток, что прошли от воскресенья, в Ростове уже появились первые признаки устаивания новой жизни — жизни на военный лад. Бульвары — сплошь,

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Юрий Кублановский. Фронтовик Солженицын</i>	5
ЛЮБИ РЕВОЛЮЦИЮ	11
Глава первая. Размолотные недели	13
Глава вторая. Утлое	43
Глава третья. ПеченегИ	67
Глава четвёртая. На Бузулуке	114
Глава пятая. Командировка	142
Из главы шестой	177
Из главы седьмой	185
СЛУЧАЙ НА СТАНЦИИ КОЧЕТОВКА	187
ВСЁ РАВНО	251
ЖЕЛЯБУТСКИЕ ВЫСЕЛКИ	261
АДЛИГ ШВЕНКИТТЕН	315
СТАРОЕ ВЕДРО	367
К 50-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОЙ ВОЙНЕ	371
Краткие пояснения	380